

Оригинальная статья / Original Article

DOI: 10.31857/S160578800024635-4

“...Исповедоваться друг другу на письме...”: семейная переписка в понимании молодого И. В. Киреевского

© 2023 г. М. Д. Кузьмина

Кандидат филологических наук,
доцент Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна,
Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18,
доцент Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена,
Россия, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48
mdkuzmina@mail.ru

Резюме. Статья посвящена изучению семейной переписки И.В. Киреевского 1830 г., периода его пребывания в Германии. Как показало исследование, в это время он, в противовес господствующей в эпистолярном общении эпохи установки на “буффонаду”, утверждает приоритет исповедального письма. С одной стороны, это было обусловлено эпистолярными традициями его семьи (утвердившимися, в частности, в переписке А.П. Елагиной с В.А. Жуковским), с другой — очень доверительными отношениями в его семье; наконец, в-третьих, его личными представлениями о переписке и потребностями души. При этом Киреевский не возвращался к традициям сентиментальной исповедальной переписки второй половины XVIII — начала XIX в. Он переосмыслил эти традиции в контексте актуальных романтических тенденций 1830-х годов. Под его пером письмо обрело предельную доверительность, при внешней сдержанности. Утверждаемое молодым эпистолографом родство душ членов семьи и, следовательно, предельное сближение вплоть до тождества адресанта и адресата влекло за собой предельное редуцирование вербальных эпистолярных излияний (излишних и беспомощных выразить сокровенные, ведомые участникам переписки смыслы), слияние жанровых черт письма и дневника; наконец, переосмысление жанра путевого письма.

Благодарность. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 20-68-46021, “Славянофильство в религиозно-философском диалоге: 1836–1917”.

Ключевые слова: И.В. Киреевский, письма из Германии 1830 г., семейная переписка, исповедальное письмо, эпистолярный, романтическое письмо, Киреевские-Елагины, А.П. Елагина, В.А. Жуковский.

Для цитирования: Кузьмина М.Д. “...Исповедоваться друг другу на письме...”: семейная переписка в понимании молодого И.В. Киреевского // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2023. Т. 82. № 1. С. 37–50. DOI: 10.31857/S160578800024635-4

“...To Confess with Each Other in a Letter...”: Family Correspondence in the Understanding of Young I. V. Kireevsky

© 2023 Marina D. Kuzmina

Cand. Sci. (Philol.),
Associate professor at the St. Petersburg State University
of Industrial Technologies and Design,

18 Bolshaya Morskaya Str., St. Petersburg, 191186, Russia,
Associate professor at the A.I. Herzen
Russian State Pedagogical University,
48 Moika River Embankment, St. Petersburg, 191186, Russia
mdkuzmina@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the study of the family correspondence of I.V. Kireevsky in 1830, the period of his stay in Germany. As the study showed, at that time he, in contrast to the attitude towards “buffoonery” prevailing in epistolary communication, affirmed the priority of a confessional letter. On the one hand, this was due to the epistolary traditions of his family (established, in particular, in the correspondence of A.P. Elagina with V.A. Zhukovsky), on the other hand, very trusting relationships in his family; finally, thirdly, his personal ideas about correspondence and the needs of the soul. At the same time, Kireevsky did not return to the traditions of sentimental confessional correspondence of the second half of the 18th – early 19th centuries. He rethought these traditions in the context of the current romantic trends of the 1830s. Under his pen, the letter acquired the utmost confidence, with outward restraint. The kinship of the souls of the family members affirmed by the young epistolographer and, consequently, the ultimate convergence, up to the identity of the addresser and the addressee, entailed the ultimate reduction of verbal epistolary outpourings (excessive and helpless to express the innermost meanings known to the participants in the correspondence), the merging of the genre features of the letter and diary; finally, a rethinking of the genre of travel writing.

Acknowledgements. The research was carried out with the support of the Russian Science Foundation, project No. 20-68-46021, “Slavophilism in religious and philosophical dialogue: 1836–1917”.

Key words: I.V. Kireevsky, letters from Germany in 1830, family correspondence, confessional letter, epistolary, romantic letter, Kireevsky-Elagins, A.P. Elagina, V.A. Zhukovsky.

For citation: Kuzmina, M.D. “...Ispovedovatsya drug drugu na pisme...”: semejnaya perepiska v ponimanii mladogo I.V. Kireevskogo [“...To Confess with Each Other in a Letter...”: Family Correspondence in the Understanding of Young I. V. Kireevsky]. *Izvestiâ Rossijskoj akademii nauk. Seriâ literatury i âzyka* [Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language]. 2023, Vol. 82, No. 1, pp. 37–50. (In Russ.) DOI: 10.31857/S160578800024635-4

“Но скажи, пожалуйста, что за мысль исповедоваться друг другу на письме, тогда как мы два дня назад могли говорить друг другу то же полнее и свободнее? Как ни коротко знаком с человеком, но все легче сказать ему правду в глаза, нежели писать ее заочно” [1, с. 262], – отвечал И.В. Киреевский М.П. Погодину, категорически отвергая его предложение вести доверительную переписку. Вместе с тем, в письме, написанном приблизительно в то же самое время, он побуждал младшую сестру, М.В. Киреевскую, – именно “исповедоваться” [1, с. 260] друг перед другом в письмах. Итак, в семейной переписке, и только в ней, молодой эпистолограф считал уместным раскрывать душу.

Даже в дружеском эпистолярном общении, даже в письмах к ближайшему другу, А.И. Кошелеву, у Киреевского имела место исповедальность скорее в проекте, чем в наличии. “...дари меня, хоть изредка письмами, которые бы сообщали мне известия о состоянии твоём, как нравственном, так и телесном” [2, с. 113], – просил его Кошелев. “Благодарю тебя за твои расспросы обо мне и охотно буду отвечать на них обстоятельно, – обещал Киреевский, – ибо нет тяжелее состояния,

как быть неузнанным теми, кого мы любим” [1, с. 201]. Позднее он действительно признавался другу: “...хорошо и *мягко* (здесь и далее курсив авторов цитируемых сочинений. – М.К.) в эту минуту! Какая-то музыка в душе, беспричинная *Эолова* музыка <...> беспричинное чувство в душе моей <...> сердечная музыка...” [1, с. 360]. Подобные доверительные признания в дружеской переписке Киреевского единичны, и дальше них он не пошел. По этим признаниям видно, что он находил исповедальное общение уместным в дружеской переписке, однако сам к нему не был готов.

Любопытны сами эти мысли Киреевского об исповедальной переписке в то время, когда она, казалось бы, ушла в прошлое, уступив к 1830-м годам место “буффонаде”, отличавшей в первую очередь дружеский эпистолярный диалог А.С. Пушкина и арзамасцев. Как показало исследование Л.Я. Гинзбург, под их пером стало наблюдаться “парадоксальное соотношение: в дружеском письме, казалось бы, самом интимном роде словесности <...>, интимность оказывается запрещенной” [3, с. 187]. Так, Пушкин тщательно “маскирует личный сердечный опыт”, “шутит над поэтическим делом своим и своих друзей”

[Там же], травестирует даже тему смерти, причем в то время, когда она была болезненно остра, — в начале 1830-х годов, в эпидемию холеры. Важнейшей стилистической категорией писем Пушкина, как и других арзамасцев, Л.Я. Гинзбург справедливо считала “эфемеризмы высокого” [4]. Эту ярко выраженную в письмах тенденцию к “грубой простоте”, принципиальный отказ от манерности Ю.Н. Тынянов в свое время рассматривал как чрезвычайно перспективную для эпистолярного жанра и резонно видел в ней проявление особой — неисповедальной — “интимности”: “Это не была безразличная простота документа, извещения, расписки — это была вновь найденная литературная простота. В жанре по-прежнему подчеркивалась его внелитературность, интимность; но она подчеркивалась нарочитой грубостью, интимным сквернословием, грубой эротикой. Вместе с тем писатели осознают этот жанр глубоко литературным” [5, с. 266]. Молодой Киреевский тоже отдал дань “буффонаде” в дружеском эпистолярном общении; впрочем, как правило, вводил ее дозированно, сочетая с дозированными же доверительными признаниями.

Еще дальше он пошел в семейной переписке, противопоставив неисповедальным интенциям современного ему эпистолярного общения — установку на доверительность. Эту установку было легче реализовать в закрытой и априори доверительной же семейной сфере. В случае Киреевского она рождалась сама собой, была единственно уместной и органичной — исходя, во-первых, из глубоко доверительных отношений внутри семьи Киреевских-Елагиных и, во-вторых, из сложившихся в ней предпочтений к традициям исповедальной переписки начала XIX в. В таком духе на протяжении почти полувека (1813–1852) А.П. Елагина переписывалась со своим родственником и другом В.А. Жуковским. По наблюдению прот. Д. Долгушина, их переписка “...ориентировалась на сентименталистское литературное произведение <...>. В эту традицию А.П. Елагина вводила и своих детей...” [6, с. 20]. Наибольшее влияние матери испытывал в этом отношении старший сын — Иван. Впрочем, он воспринял ее установку на исповедальную переписку творчески, по-своему. Сентиментальные традиции начала XIX в. под его пером существенно преобразились. Он предложил свой вариант исповедального письма, соответствующий, во-первых, его личным предпочтениям, во-вторых, потребностям его семьи и, в-третьих, литературному характеру его эпохи.

Уехав в Германию в 1830 г. и, как сначала планировалось, надолго, на несколько лет, Иван Киреевский боится потерять тесную душевную связь с любимой семьей. Он настойчиво побуждает родных общаться с ним в доверительном ключе, от письма к письму умоляя: “Пожалуйста, отвечайте мне на каждый пункт моих писем как можно аккуратнее. Пишите чаще и накрест строки” [1, с. 260], “...прошу вас всем сердцем: пишите ко мне чаще и больше” [1, с. 271], “Вели Машке (сестре. — М.К.) писать ко мне как можно больше и всякий день просить вас, чтобы вы писали <...> чаще и длиннее, чтобы письма ваши были так же длинны, как расстояние между нами” [1, с. 303] и т.п. Сестре, М.В. Киреевской, он в самом начале переписки предложил “исповедоваться” друг перед другом в письмах. От нее он особенно требовал таких писем, ей подробно излагал свой взгляд на эпистолярный диалог — в своеобразных письмах-“проповедях”, адресованных лично ей, либо в строках общего письма к родным, где он просил передать ей свои наставления. Очевидно, Киреевский чувствовал себя вправе учить младшую сестру, но не дерзал на это в отношении матери и отчима, А.А. Елагина. Да они не очень и нуждались в его наставлениях — он сам учился у них. Кроме того, с сестрой Марией, а также с братом Петром, родившимися, как и он, от первого брака матери и выросшими вместе с ним (в отличие от совсем еще маленьких сводных братьев и сестер Елагиных, от второго брака), его связывали особенно близкие отношения, которые ему хотелось сделать еще более близкими через переписку. Он учитывал, очевидно, и присущую сестре женскую чуткость, чувствительность, склонность к общению по душам, и ее больший, чем, скажем, у матери, обремененной домашними заботами, досуг. В идеале Иван, конечно же, мечтал вести эпистолярный диалог со всей семьей по принципам, сообщенным Марии. Прося родных передать ей некоторые из своих пожеланий, он транслировал эти пожелания всей семье.

Киреевский просил сестру, во-первых, писать ему максимально часто (“...ты должна писать *всякий день* хотя по две строчки <...>. Неужели написать *две строчки* тебе будет трудно” [1, с. 260]), что она, впрочем, сама ему обещала при прощании. Во-вторых, он просил сестру отвечать на его письма (“Так как я просил Маминьку читать тебе *все* мои письма, то не придет ли в голову ответить что-нибудь на них” [1, с. 261]). В-третьих, сообщать обо всем, чем она живет: о внешней, повседневной жизни, неотделимой от жизни всей семьи и потому вдвойне дорогой для Ивана (“...веди журнал тому, что у вас делается” [1, с. 255],

“Об здоровье всех <...>. Что ты читаешь <...>. Кто у вас бывает чаще других <...>. Что ты пишешь, что переводишь <...>? Что работаешь? <...> Чем кто занимается?” [1, с. 260–261]), и о своей сокровенной жизни, особенно важной для него. Неудивительно, что именно по отношению к ней он употребил слово “исповедоваться”. Именно знакомясь с ней, — надеялся предельно сблизиться с сестрой. Иван осторожно подводит Марию к исповедальной переписке, побуждая ее переключаться с внешнего хода жизни — на внутренний (ср.: “Что ты читаешь, что читала и какие главные мысли оставили в тебе прочтенные книги” [1, с. 260], “Кто у вас бывает чаще других, кто интереснее других, с кем ты короче других...” [1, с. 260–261]). И, наконец, подробно останавливается на внутреннем. В последних пунктах его письма-“проповеди” означено: “7-е. Читай всякий день одну главу из Евангелия и всякое письмо ко мне начни каким-нибудь текстом по-славянски. Когда возвращусь, скажу, для чего мне этого хочется. <...>. 8-е. Старайся в свои письма вмещать как можно больше общих мыслей; не заботься о том, стары они или новы; они потому уже не будут общими местами, что покажут мне *твой* образ мыслей и, следовательно, будут для меня интереснее Шеллинговых. Я стану с тобой спорить, и так мы к нашему свиданию мало-помалу узнаем друг друга лучше, чем при расставании. 9-е. Если, кроме тех пунктов, придется сказать что-нибудь интересное, то не ленись: каждая лишняя буква от тебя будет мне лишнею радостью” [1, с. 261]. Он тут же уточняет, что речь идет только о своей “лишней букве”, о своих “общих мыслях”, — которые захотелось высказать, потому что так думается и чувствуется. Следовательно, они, в его понимании, псевдообщие и псевдолишние. Киреевский учит сестру отличать их от подлинно лишних, каковыми, в его представлении, являются, например, этикетные формулы, предписанные эпистолярной традицией. Их он категорически отвергает, предупреждая Марию: “Замечаешь ли ты, что я не говорю тебе: люби меня, помни, — надеюсь, что и ты не станешь наполнять своего письма лишними фразами” [1, с. 261].

Изложенные Киреевским сестре принципы эпистографии были совершенно очевидно нацелены на исповедальность писем. Это те принципы, которых придерживались в семье. Именно их шестнадцатью годами ранее зафиксировал для себя и Марии Протасовой (Мойер) Жуковский в дневнике под рубрикой “План”: “*М<аше>*. Читать. <...>. Выписывать самые лучшие места. Журнал соб<ственный>. Места из Свящ<енного>

Писания. Собственные мысли и замечания на других. Мне: <...>. Св. Писание — моя исповедь. <...>. Журнал соб<ственный>. Жить как пишешь” [7, с. 63].

Иван Киреевский имеет в виду те же цели, что и Жуковский. Об этом свидетельствуют его адресованные разным членам семьи письма, в которых он не устает пояснять “проповеданные” Марии принципы эпистолярного общения — и в части содержания, и в части формы. Он сообщает Петру: “Я просил сестру во всяком письме ко мне выписать какой-нибудь текст из Евангелия. Я это сделал для того, чтобы 1-е — дать ей лишний случай познакомиться короче с Евангелием; 2-е — чтобы письма наши не вертелись около вещей посторонних, а сколько можно выливались из сердца” [1, с. 290] — и реагирует на выписанный Марией — по-французски — фрагмент: “Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы” [Там же], — восприняв его как исповедь ее сердца: “Бедная! в 17 лет для нее будущее — забота и беспокойство” [Там же]. В письме к матери и другим членам семьи много внимания уделяет форме исповедального эпистолярного текста: “Ради Бога не велите Машке трудиться над письмами к нам (к нему и Петру. — *М.К.*) и учиться писать их. Уверьте ее, что лучше того, как она пишет, она никогда писать не будет, а очень легко может писать хуже, т.е. меньше натурально, меньше мило, меньше по-Машкински. Чем больше она будет работать над письмом, тем больше рискует сделать его похожим на другие, следовательно, поэтому оно уже будет не так драгоценно для нас. <...> чем хуже написанным письмо ее кажется ей самой, тем оно лучше в самом деле” [1, с. 297]. Подытоживая свои размышления, Киреевский подчеркивает, что в наибольшей степени ценит в письмах сестры “все душевное, простое, милое” [Там же], и предлагает лаконичную формулу-руководство, относящуюся и к содержанию, и к форме исповедального письма: “Пусть пишет, что придет в голову, и так, как придет” [Там же].

Таким образом, молодой Киреевский смело утверждал в качестве ключевого принципа семейного эпистолярного общения — принцип свободы, свободы самовыражения личности в письме. Он экстраполировал непосредственность домашнего состояния, поведения, общения — на семейную переписку, дававшую такие права. Особенно большими они были, понятно, в отношениях с сестрой, нежели с родителями. С сестрой можно было общаться в полной мере

“на равных”¹, поэтому также неудивительно, что Киреевский утверждает свою концепцию эпистолярного общения в первую очередь в переписке с ней. Согласно этой концепции, в центре эпистолярного общения оказывается личность пишущего, с ее сугубо частной жизнью, во всех подробностях важной только для нее самой и для ее адресата, очень близкого ей человека. Интересно отметить, что при всей, на первый взгляд, периферийности для литературного процесса сугубо частных семейных писем с их сугубо частными подробностями — утверждаемые молодым Киреевским принципы семейной переписки зиждились на логике литературного процесса своего времени и отвечали его актуальным запросам. Скажем, актуализировали важные для сентиментализма топосы домашней, повседневной жизни, сокровенных переживаний, состояний души и важный для романтизма концепт личности.

Мария Киреевская приняла и старалась применить в эпистолярной практике руководство брата. Об этом свидетельствуют как его отклики на ее письма, так и сами эти письма, которых сохранилось, к сожалению, очень немного. Показательно, например, одно из них, датированное 18–21 марта 1830 г. Оно состоит из трех небольших фрагментов, помеченных 18, 19 и 21 марта. Это те самые ежедневные несколько строк, о которых просил Иван. Мария отвечает на его просьбу: “Ваня! я было перестала писать к тебе всякий день, не потому, чтобы меньше думала об вас обоих (о нем и о Петре. — М.К.), ты, верно, этого не вообразишь, но потому, что, когда я перечитывала свои письма, они казались мне ужасно несвязны и нескладны. Но так как тебе нужды нет до их нескладности, то с нынешнего дня я пишу всякий день...” [9, л. 32]. Как и учил Иван, сестра в письмах к нему освещает повседневные домашние события, но основное внимание, как, опять же, он и хотел, уделяет своему личному отношению к ним (“У нас теперь живут Дуняша и Нат<алья> Андреевна <...>. Дуняша была бы славная девушка, если бы ей дали другое воспитание”, “Вчера <...> вечером у нас была пресмешная лекция. Маминька уговорила Эйнбрадта читать нам химию <...>. Он недурен собою и любезен с дамами <...>, но вряд ли он способен к серьезному разговору”, “Герке <...> бывает у нас почти всякий день. Я не люблю его...” [9, л. 32 об.]) — и, наконец, просто настроениям, состояниям души. “...с нынешнего дня я пишу всякий день, и мне это очень

весело” [9, л. 32], — сообщает она Ивану 18 марта. “Милые братья! Отчего-то мне так грустно!” [Там же] — признается 19-го. Тут же прибавляет, обращаясь к Петру: “Если мы скоро не получим от тебя <письма>, то мне будет горько очень” [Там же], — и к обоим братьям: “Дурачки мои, как мне хорошо будет, когда вы будете вместе, а теперь при получении письма от одного мы не можем вполне наслаждаться им, всегда боишься, отчего нет от другого” [Там же].

Послания Марии Киреевской к брату — за счет их содержания и “поденности” записей — могут рассматриваться как письма-дневники, соотносимые с теми, которые вели члены семьи Киреевских (Жуковский, Мария Протасова; переписка Жуковского с Елагиной тоже носила дневниково-эпистолярный характер). В России первой половины XIX в. эти два жанра зачастую сближались и переходили друг в друга. Само по себе ведение дневника было очень распространено. Оно в разное время практиковалось братьями Киреевскими и их друзьями и современниками, в особенности же современниками. По справедливому наблюдению Ф. Лежена, “ведение дневника предписывалось девушкам, а не юношам”, и “...было элементом воспитания” [10, с. 21]. Мария Киреевская вела дневники практически всю свою жизнь. Сохранились ранний (1825–1829 гг.) [11] и поздний (1845–1847 гг.) [12], а также фрагмент 1840 г. [13]. Думается, побуждая сестру посылать к нему письма-дневники, Иван Киреевский хотел участвовать в ее жизни, развитии и воспитании, видеть, направлять и корректировать этот процесс. Похоже, что в 1830 г., когда брат находился за границей, Мария приостановила ведение дневника. В ряде писем Киреевский осведомлялся: “Машка, скоро ли проснется твой журнал?” [1, с. 314], “Пишешь ли журнал?” [1, с. 320]. Письма к Ивану в значительной степени заменяли ей дневник.

Дневниковый характер очень отличает их от ее писем к другим лицам, даже к самому близкому человеку — матери. Последние невелики по объему и наполнены почти исключительно домашними заботами — подробными сведениями о младших братьях и сестрах, беспокойством о здоровье членов семьи и т.п. Показателен, например, следующий фрагмент, составляющий значительную часть письма: “Дети, милая маминька, все здоровы. Васинька к вам сам пишет. Он вчера целый день выдумывал, что бы сделать к вашему приезду. Колинька выучился очень смешно разговаривать. Андрюша начинает быть гораздо живее. Его глазки делаются преумными” [14, л. 7].

¹ Ср. схожие, и даже еще более разительные, различия в переписке 1777–1778 гг. М.Н. Муравьева, с одной стороны, с отцом, с другой — с сестрой (см.: [8]).

На этом фоне совершенно теряются редкие строки с изъявлением любви к матери и отчиму или с отзывами о прочитанных книгах. Очевидно, что Елагина, как и Жуковский, видела пользу в таких отзывах и побуждала к этому дочь. Таким образом, процент сведений собственно о себе — о своих мыслях и чувствах — в эпистолярной Марии Киреевской минимален. В письмах к Ивану, его усилиями, этот процент увеличился в несколько раз.

Вместе с тем, и “дневниковость” писем Киреевской к брату на поверку очень относительна. Ее письма-дневники гораздо больше — письма и гораздо меньше — дневники. Они в этом отношении очень отличны от писем-дневников Жуковского и Протасовой, от текстов, составляющих эпистолярный диалог Жуковского и Елагиной, наконец, и от писем обоих Елагиных, матери и отчима, к Ивану Киреевскому, — где налицо соразмерность обоих жанровых компонентов и яркая выраженность в обоих сентиментально-романтических черт, установки на глубокую авторефлексивность и исповедальность. Здесь уместно вспомнить выражение М.О. Гершензона, заметившего, что Киреевский “...вышел из этого гнезда, которое было, можно сказать, очагом романтического движения в России” [15, с. 421]. Мать и отчим практически все пространство своих посланий наполняют выражением чувств, на которые Мария-эпистограф, в сравнении с родителями, скупа. Благословляя в дорогу Ивана в одном из первых писем, Елагина очень много говорит о душе и переживаниях (“Да благословит тебя Бог! С надеждою и *радостью* повторяю это ежеминутное моление сердца! <...>. Ах, Ванюша! Как в твоей воле убить или живить мою душу! Несколько слов, тобою сказанных, утолили много страдания. <...>. Твои надежды на будущее дадут мне будущее, твоя действительность меня поддержит, твоя крепость, возвышенность (и над судьбою, и над своею слабостию) дадут мне силы и жизнь. <...>. Бери с собою в душу только то, что в ней оставаться должно, остальное <...> лишняя тяжесть. Все здесь тебя благословляют с любовью. Береги себя для всей семьи твоей. Господь с тобой” [16, л. 1]) и в последующих изливает душу обоим сыновьям (“Я знаю, почему вы не писали через две недели, как обещали: Ванюша был болен; это доказывает и бестолковость, и короткость его письма <...>. У вас обоих не поднималась рука обманывать мать, а Иван сам был не в силах писать. От этого же и Шеллинга вы все трое (сыновья и Н.М. Рожалин. — М.К.) еще не видели. <...>. Не обманывайте меня, пожалуйста, странно мне не узнать чего-нибудь, до вас касающегося:

ведь для души нет пространства” [17, л. 3]). Муж вторит ей, много и восторженно толкуя пасынку о “душе”, “сердце”, “любви”, “дружбе”, “семье” и т.п., об идеальных понятиях, важных в культуре романтизма и в лексиконе Жуковского, Протасовой, Елагиных (ср.: “...пока у меня будет хоть одна рубашка, ты можешь считать ее своею. <...>. Я огорчен до глубины души, но во всякую минуту моей жизни я повторяю себе, что за дружбу твою охотно отдал бы жизнь. <...> в моей семье <...> ты до сего времени был душою...” [18, л. 1]), “Не показывай ей (матери. — М.К.) этого письма: ей жутко будет узнать, что я тебе, кумиру души ее, указываю обязанности в отношении к ней. Как легко твоему сердцу понять ее — чистое и прекрасное” [18, л. 4 об.] и т.п.). Письма Марии Киреевской к Ивану, наконец, отличны и от ее дневников, чего Иван, не знакомый с последними, не мог заметить.

На первый взгляд, Мария ведет дневник по тем же принципам, которые “проповедовал” ей Иван (очевидно, потому она и приняла и усвоила их так скоро в отношении переписки): фиксирует события домашней жизни, свое отношение к ним, свои переживания, состояния души. Но делает это значительно подробнее, с гораздо большим самоуглублением, чем в письмах. Авторефлексия Марии в дневнике, как правило, направлена на оценку себя, своих поступков, слов, мыслей и чувств с нравственной позиции. В результате девушка нередко приходит к самоосуждению, близкому к покаянному: “Вчера был самый для меня несчастный <день>, потому что я не послушалась и нагрубила маминьке, другу моему, которая любит и желает мне добра <...>. Я увидела из сего дня, что тот человек, который нетверд в своих намерениях, есть самый несчастный из всех людей, и потому я решилась, что, ежели я захочу сделать что-нибудь, что будет хорошо, никак не переменять моего намерения” [11, л. 2 об.] (запись от 2 января 1825 г.), “Сегодня я проснулась в ужасно дурном нраве <...>. Перед обедом я ленилась работать. После обеда я тоже ничего не сделала хорошего, и в шесть часов я пошла к Похвисневому, где вечер я провела самым сквернейшим образом. Я там ничего (так в тексте дневника. — М.К.) не научилась хорошего, и потому сей вечер был потерян для меня самым скучным образом” [11, л. 3] (запись от 3 января), «После обеда приехали Похвисневы, а потом Гоголь. Мы начали танцевать, в половине урока Гоголь подошел ко мне, одной рукой взял меня за руку, а другой рукой начал щипать <свою> (в тексте дневника: его. — М.К.) шею. Гордость моя ужасно как оскорбилась этим, и первое мое движение

было — выдернуть у него руку, но он удержал меня и начал кричать: “Машечка! Машечка!” Это меня еще больше рассердило» [Там же] (запись от 4 января). Из полудетского нравственного дневника второй половины 1820-х годов под пером Киреевской ко второй половине 1840-х годов сложится духовный дневник, центральная тема которого — Бог и ее путь к Нему².

Письма 1830 г. к Ивану представляют собой что-то вроде тезисного варианта дневника, который по желанию автора мог бы быть развернут в полноценный дневник. Они “не продуманы” в том смысле, в каком хотел брат: чувствуется, что Киреевская специально не трудилась над текстом и написала “натурально”, “просто”, “душевно”, “мило”, “по-Машкински”, “что пришло в голову и так, как пришло”. Она свободно переходит от одного события или впечатления к другому, сохраняет легкость стиля, непосредственность обращений к адресату (“Дурачки мои...”), интонации, близкие к разговорным. Вместе с тем, текст тщательно продуман автором в отношении авторефлексии, которая строго дозирована. Киреевская четко разграничивает жанры дневника, ведущегося для себя, и письма, адресованного другому, пусть и очень близкому человеку. Письма Марии к Ивану сдержанно-исповедальны. В них едва-едва визуализирована, скажем так, “душеизлиянная” исповедальность и вовсе отсутствует покаянная, в отличие от дневника. Соотнося их с дневником, можно вслед за М. Михеевым поставить вопрос о “пред-тексте” и подвергнуть сомнению тезис исследователя о том, что письмо непременно выступает в качестве такового по отношению к дневнику [19, с. 85]. В случае Марии Киреевской видятся равно допустимыми три варианта: письмо — “пред-текст” дневника (в этом случае письмо трансформируется в дневник за счет наращивания материала), дневник — “пред-текст” письма (обратный процесс: трансформация дневника в письмо за счет сжатия материала),

либо они независимы друг от друга. Второй и третий варианты представляются более вероятными.

От писем Ивана к Марии, каковых сохранилось, к сожалению, всего три, естественно ожидать, что они написаны в соответствии с “проповеданными” им ей принципам. И действительно, в них налицо свободная манера общения, определяемая братско-сестринскими отношениями, — манера, соединяющая шутливо-дружеский и доверительно-ласковый тон. Этот синтез выразился в обращениях прескрипта (“Толстая Хозяйка!” [1, с. 260], “Милая Сеструшка!” [1, с. 279], “Дружочек Маша!” [1, с. 318]) и в семанте. Клаузула утверждает преобладающую доверительно-ласковую тональность (“Твой брат Иван” [1, с. 279], “Прощай, обнимаю тебя!” [1, с. 280], “Обнимаю тебя от всего сердца. Твой Иван” [1, с. 321]), которая и в целом во всех письмах выступает в роли ведущей, придавая им столь важный для автора исповедальный характер. Он особенно отличает последнее письмо, от <8–24 августа (20 августа — 5 сентября) 1830 г.>, написанное к дню рождения сестры. Вообще, от послания к посланию исповедальность текстов Киреевского нарастает. Первое из них — вышерассмотренное письмо — “проповедь”. Во втором Киреевский, благодарный сестре за выполнение его просьбы, старательно отвечает на полученное от нее письмо, уделяя внимание всем тем частностям ее внешней, общесемейной и внутренней жизни, которые она изложила. Отвечая, он как брат и друг переживает их вместе с ней, в свою очередь приоткрывает ей душу, в какой-то степени “взаимно исповедуются”, что и предлагал в первом письме; но одновременно — и по большей части — принимает ее исповедь, судит о ее состояниях, стремлениях и т.п. и осторожно направляет, дает советы, вступая в роль, близкую к роли духовного отца (ср.: “Я очень рад, что ты выдаешься с Похвисневой. Она одна из тех немногих девушек, которые живут, не играя роли, и уже поэтому она к тебе ближе других. <...>. Особенно грустно бывает мне, когда я подумаю о том, как тебе иногда должно быть скучно и пусто. Ради Бога только не думай прогнать этой скуки с Гринами и им подобными. Старайся во всех отношениях, во всех мыслях, во всех чувствах быть ближе к Маминьке. В ней найдешь все, что питает душу, и теперь ты уже можешь быть в полном смысле слова *ей другом*” [1, с. 280]). Очевидно, положение старшего брата, по его мысли, давало ему такие права и даже возлагало на него обязанность “вести” сестру и нести ответственность за нее, особенно в свете того, что родной отец их умер.

² Ср.: “Вчера вечером мне еще так было грустно на сердце, я так боялась, Господи! Что Ты не удостоишь нас, грешных, Твоей милости! А сегодня! Господи! Не только удостоил Св<ятых> Твоих Таин, — но и позволил еще сложить бремя греховное, и научил, и наставил, как устроить жизнь как можно лучше, совсем обновить ее! Щедрый и милостивый Господи! И это Твоя милость, Господи, что пока я собиралась спросить, хорошо ли будет всякий день писать журнал<ал>, Батюшка сам сказал мне, чтобы я писала, — чтобы явно показать мне, Господи, что это Твоя воля! Грешная и недостойная! Неужели и эти все милости и щедроты пройдут для меня даром!”, “Сегодня <...> несколько раз ловила себя в рассеянии, не сосредоточенно молилась, казалось, не понимала важности дела, к которому приступила! Потом в остальной день много празднословила!” [12, л. 1, 2].

В третьем письме Киреевский в наибольшей степени “взаимно исповедуется” сестре, говоря не столько о ней, сколько о себе и своей сокровенной жизни (“Сны для меня не безделица. Лучшая жизнь моя была во сне. Не смейся же, когда я так много говорю об них. *Они вздор, но этот вздор доходит до сердца.* К тому же с кем лучше тебя я могу разделить его?” [1, с. 319]), о своей внешней жизни в Европе (“...брат и Рожалин вошли в мою комнату...” [1, с. 318], “...у меня перед глазами все немцы да немцы...” [1, с. 319], “Это письмо дойдет до тебя через месяц. Я тогда, вероятно, уже буду в Италии” [1, с. 320]), о личном отношении к Германии (“...Германию <...> я не нелюблю, а ненавижу!” [1, с. 319]) и к самой сестре (“...семечко от цветка: *Иван да Марья* <...> я посажу к себе глубоко в мысли...” [Там же], “...Милая Машка...” [1, с. 320]). Как можно видеть, это весьма обстоятельная исповедальность, преимущественно “душеизлиянная” и совершенно не покаянная, как и в письмах Марии; меньшая даже, чем в ее письмах. Да и эту очень редуцированную исповедальность Киреевский прикрывает покровом “буффонады”, вследствие чего нейтрализует, заканчивая письмо припиской: «Отгадала ли ты, Милая Машка, что это письмо писано после 3-х бутылок шампанского, выпитых за твоё здоровье нами тремя (им, Петром и их общим другом Н.М. Рожалиным. — М.К.)? Я бы не послал тебе этот вздор, если бы не хотел доказать *на деле*, что ты не одна бываешь пьяна» [Там же]. Впрочем, стремление спрятаться за “буффонадой” говорит как раз о том, что представленная в письме редуцированная исповедальность, очевидно, переживалась его автором как исповедальность.

Из всей семьи, оставшейся в Москве, Киреевский адресовал отдельные письма только сестре (и то не всегда), иначе доверительный эпистолярный диалог с ней не мог бы получиться. Всем остальным своим близким, к которым нередко присоединял и сестру, он писал принципиально “общие” письма, что не раз оговаривал, считая очень важным: “...мне бы хотелось, чтобы мои письма были общие; мне бы не хотелось разделять тех, кого я люблю вместе” [1, с. 255], “...мне бы хотелось, чтобы письма мои были ко всем вам *вместе*” [1, с. 288]. Адресуя послания на имя матери, он действительно свободно обращался в них к разным членам семьи (“А ты, Машка, видно, в самом деле думаешь, что мне не интересны твои письма <...>?” [1, с. 255], “Здравствуй, брат Вася! Отчего ты не пишешь ко мне? <...> к следующей почте приготовь посланье в стихах...” [1, с. 279]), настоятельно просил мать читать Марии “*все*” [1, с. 261] его письма. Иногда отсылал

сестру в личном письме — к общему (“Об верховой езде (о вопросе сестры, прилично ли ей, девушке, этим заниматься. — М.К.) я писал к Маминьке” [1, с. 320]). Подобные отсылки в личном письме — к общему, а в общем — диалоги с отдельными членами семьи имели целью, как очевидно, создать некий тотальный внутрисемейный эпистолярный диалог, стереть границу между персональными и общими письмами. С одной стороны, это, наверное, не могло не убавить градус исповедальности, предполагающей скорее доверительное общение по душам двоих — человека с человеком, чем общение с целым кругом, пусть и близких, лиц. С другой, очевидно, должно было, наоборот, ее упрочивать и усиливать, потому что Киреевский имел в виду именно предельно доверительный эпистолярный диалог целого — семейного — круга лиц, принципиально нераздельных.

Молодой эпистограф старательно и успешно подчинял общие письма к родным тем же принципам, которые “проповедовал” сестре и реализовывал в переписке с ней. Ключевой принцип исповедальности, таким образом, распространялся на общесемейную переписку. Неудивительно, что Киреевский от письма к письму просит родных не показывать его послания и даже не передавать из них ни слова посторонним: “...кроме *вас*, пожалуйста, не показывайте их *никому*, иначе я стану их сочинять...” [1, с. 288], “...если я буду думать, что хотя одно слово из моих писем выйдет из круга моей семьи, то это будет для меня отменно неприятно. <...> видеть меня таким, каков я в самом деле, и вместе любить, — может только моя семья. Немногие друзья мои не все исключение; из них многие любят во мне такие качества, которых я не имею” [1, с. 313]. Итак, молодым эпистографом четко разделяются семейный круг — и все остальные люди, находящиеся за его пределами. Семейная переписка, соответственно, четко противопоставляется несемейной, в том числе дружеской, утверждается предельная доверительность первой, и только первой, обусловленная предельно близкими отношениями внутри семьи. Лишь в семье и, следовательно, в семейной переписке, по Киреевскому, можно быть самим собой.

Разворачиваемая молодым эпистографом концепция исповедальной внутрисемейной переписки, на первый взгляд, невоплотимая на деле, с учетом большого количества участников этой переписки и, следовательно, утраты ею личного характера, — зиждилась на его концепции семьи. Идеальная семья, каковой он считает свою, представляет собой, по его убеждению, единое целое;

каждый член семьи — часть и одновременно тождество этого целого. “...Вы — это я, — писал Киреевский матери, — это мы все...” [1, с. 253], — и, обращаясь, очевидно, ко всем членам семьи: “...вы <...> это тот же я, только лучший, больше интересный для худшего” [1, с. 270], “...нашел я письмо от брата, <...> об вас, о московской половине нас...” [1, с. 283]. В общесемейной исповедальной переписке Киреевский, думается, видел, во-первых, соответствие ее сплоченности (семья нераздельна, следовательно, и письма к ней едины), а во-вторых, средство к большему, предельному ее сплочению, если таковое еще не достигнуто. Дружеские связи и дружеская переписка понимались им в чем-то схоже (тоже шло расширение круга участников, включавшихся в дружеское “братство” и дружескую переписку), но в главном — принципиально иначе: общение с каждым участником велось по-своему, потому что каждый мыслился лишь как часть, но отнюдь не как тождество всех. Принцип тождества применялся Киреевским только к семье (где, по его мысли, каждый тождествен самому себе, одновременно другому и, наконец, всем) и определил тотально-исповедальный характер только семейной переписки, тогда как в дружеской он актуализировался осторожно и избирательно (скажем, в эпистолярном общении с Кошелевым, но не с С.А. Соболевским, с которым общение велось в духе “буффонады”).

Повторяемая Киреевским самоидентификация по отношению к семье: “Вы — это я...”, “...вы <...> это тот же я, только лучший, более интересный для худшего” — создавала предпосылки для углубленной и вместе с тем “разноплановой” исповедальной авторефлексии: с одной стороны, для “душеизлиянной” (первый из приведенных тезисов) и покаянной (второй, актуализирующий “вертикаль”: я — ниже, хуже; вы — выше, лучше), с другой — для исповедально-эпистолярной и исповедально-дневниковой, позволяя реализовать одновременно установку на обращение к иному лицу, характерную для письма, и к самому себе, характерную для дневника. Примечательно жанровое определение, найденное самим Киреевским: “Письма мои к вам — мой журнал” [1, с. 271], — сообщил он близким. Это определение представляется очень точным. “Журналами” в XIX в. называли дневники (ср.: “Машка, скоро ли проснется твой журнал?”, “Пишешь ли журнал?”), в том числе семейно-бытовые, по классификации О.Г. Егорова [20, с. 147–150] (очевидно, эту разновидность дневникового жанра Киреевский имеет в виду, прося сестру: “...веди журнал тому, что у вас делается”; он предлагал

ей создавать такой дневник в эпистолярной форме — в письмах к нему), и путевые. Киреевский в посланиях домой синтезирует и неизбежно переосмысляет жанровые инварианты дневника, создавая одновременно путевой и непутевой (“классический”, по О.Г. Егорову [20, с. 21]) дневник в эпистолярной форме. Его, очевидно, смущает получившийся гибрид, поэтому, охарактеризовав свои корреспонденции как “журнал”, он поясняет: «Несмотря на то (здесь имеется в виду “классический” дневник. — М.К.) или именно потому (а здесь путевой. — М.К.) не ждите найти в них многого обо мне самом. Я теперь то, что вне меня, то, что я вижу, то, что слышу, плюс несколько мыслей об Москве, одинаких, неизменных, как Господь помилуй. Одна только перемена, может быть, и бывает в мыслях: большее или меньшее беспокойство об вас. Вот почему прошу вас всем сердцем: пишите мне чаще и больше» [1, с. 271].

Итак, по Киреевскому, сама ситуация пребывания на Западе и актуализируемые ею в его эпистолярной элементы путевого дневника-письма подчас лишают его послания той исповедальности, которую он “проповедовал” сестре и вместе с ней всей семье. Пребывание в “чужом” пространстве определяет внимание к нему, к его внешним реалиям, которые, как может предполагать эпистограф, интересны и адресатам, отсюда возможное уменьшение внимания к личному в путевых письмах. Таким образом, по мысли Киреевского, его собственная роль в эпистолярном диалоге и роль оставленной им в России семьи несколько различны. Ситуация путешествия оказалась в этом плане очень удобной. Она позволяла ждать доверительных писем из дома, самому же дозировать авторефлексию, к которой Киреевский, как можно было видеть и по его дружеской переписке, и по письмам к сестре, и в чем он, наконец, прямо признался родным: “Вы знаете, что я не люблю говорить об том, что чувствую...” [1, с. 275], — был не очень склонен. Он дозировал авторефлексию, переключая по мере необходимости “классический” дневник в путевой. Но это с одной стороны. С другой — инкрустировал в путевой дневник черты “классического” дневника и вместе с тем элементы исповеди, создавая тексты, соотносимые в этом отношении с письмами-дневниками его сестры и других членов семьи; исповедальная рефлексия в письме могла быть более глубокой и свободной, поскольку письмо предполагало более свободную композицию, чем дневник, в котором автор связан, например, сменой подневных

записей³. Именно поэтому и просил родных не выносить за пределы семейного круга ни слова из его корреспонденций.

Вопреки традиции, закрепившейся за путевым письмом еще во второй половине XVIII — начале XIX в., Киреевский весьма мало пишет об открывшихся его взору новых реалиях. Он ими мало увлечен. Центральная тема его европейских писем — русская, семейная. Очень характерна его рецепция Сикстинской Мадонны Рафаэля, шедевра, потрясавшего его соотечественников, прибывших в Дрезден (ср. восторженные отзывы о ней В.А. Жуковского и В.К. Кюхельбекера) и им самим увиденная впервые: “...чем больше я всматривался в Мадонну, тем живее являлся предо мною образ Машки (сестры. — М.К.) и, наконец, так завладел мною, что я из-за него почти не понимал других картин, и на Рубенса и Фандика смотрел, как на обои” [1, с. 292]. Мысли и чувства автора сосредоточены вокруг родных. Он признается им, что жертвует ради семейной — дружеской перепиской (“Я не пишу ни к кому теперь, боясь задержкою письма дать вам лишний день беспокойства” [1, с. 305]); думая о них днем и ночью, переживая и тоскуя, — видит их в снах, рисуящих долгожданную встречу и вместе с тем нечто тревожное. “Милая сестра! — пишет он. — <...>. Сегодня я видел тебя во сне, так живо, так грустно, как будто в самом деле. Мне казалось, будто вы опять собираете меня в дорогу, а Машка сидит со мною в зале подле окна и держит мою руку, и устала свои глазки на меня, из которых начинают скатываться слезки. Мне опять стало так же жаль ее, как в день отъезда, и *все* утро сегодня я плакал, как ребенок” [1, с. 270], “С некоторого времени я беспокоюсь об Андрюше <...>. После обеда (единственный раз после обеда в Берлине) я видел дурной сон про него. Вспомните, если можно, не было ли в этот день с ним чего-нибудь необыкновенного. Есть сны, которым я верю, и по праву” [1, с. 278], “Я всякий день вижу, что воротился к вам, и опять собираюсь ехать: что это значит?” [1, с. 314], “Знаешь ли ты, что я *во всяком* сне бываю у вас? С тех пор, как я уехал, не прошло ни одной ночи, чтоб я не был в Москве” [1, с. 318]. Убежденный в теснейших связях между членами своей семьи, Киреевский верит этим снам, полагая, что сердцем прозревает происходящее

с родными, несмотря на большое расстояние и время, проходящее от отправки до получения семей письма и затем до получения ответа.

Пытаясь преодолеть разделяющие его с родными пространственно-временные границы, молодой эпистолограф прибегает к способам, применявшимся им самим и его корреспондентами в дружеской переписке. Во-первых, полагает необходимым чаще писать друг к другу. Сам он, как и в дружеской переписке, по лени и занятости не очень это правило соблюдает, но настойчиво просит родных соблюдать, подчеркивая, что для него, одиноко пребывающего за границей, письма из дома крайне важны. В его понимании, они служат не только средством сохранения и укрепления сердечных связей, как было в дружеской переписке, но и средством жизненно необходимым: без них он не может жить. “Наконец письмо от вас! — восклицает Киреевский в нехарактерной, но единственно возможной для него в данном случае эмоциональной манере. — Я не умею выразить, что мне получить письмо от вас! <...> я читал его с таким наслаждением, какого *давно* не имел. Вся моя жизнь, <с> (в тексте описка: до. — М.К.) тех пор, как я оставил Москву, была в мыслях об Москве, в разгадывании того, что у вас делается; все остальное я видел сквозь сон. Ни одного впечатления не принял я здесь свежим сердцем, и каждый порыв стоил мне усилий. Судите ж после того, как живительны, как необходимы мне ваши письма” [1, с. 275]. Итак, вводится характерная антиномия: сон о родном доме и о близких — реальность, подлинная жизнь, тогда как пребывание в Европе и вся европейская действительность — не-жизнь, сон. Неудивительно, что она ему так мало интересна, он не склонен уделять ей большого внимания. Мыслью и сердцем Киреевский больше в России, чем в Европе. Антитеза “свой — чужой”, границы которой актуальны для травелога, но постоянно в нем размываются, по наблюдению В.М. Гуминского [23, с. 11], — предельно размываются в эпистолярной молодого путешественника. Он абстрагируется от Европы и переносится в Россию, читая и перечитывая письма родных (“Я люблю перечитывать ваши письма, даже старые, и часто это делаю. Таким манером я иногда слушаю вас больше двух часов, потому что пакет уже набрался порядочный. Зачем только в этом разговоре столько печального!” [1, с. 316]), и сам адресуясь к ним. Но для полноценного сопребывания необходимо двустороннее и регулярное, как можно более частое эпистолярное общение, настаивает Киреевский, сетуя от письма к письму: “Я между тем буду писать к вам чаще обыкновенного, чтобы

³ Ср. наблюдение О.В. Мамуркиной: “Если композиция дневникового нарратива достаточно типична, то эпистолярные формы организации текста более любопытны” [21, с. 80]. В отношении путевого дневника исследовательница справедливо указывает на “...строгую упорядоченность записей, приуроченных к пребыванию в конкретном месте...” [22, с. 14–15].

хоть этим вызвать ваши письма. <...>. Правда, что, писавши к вам, я больше с вами, чем когда просто об вас думаю. Однако я говорю с вами как глухой и слепой, который знает, что его слышат, но не знает, что делается вокруг него; боится шутить не в пору; боится не в пору вздохнуть, и, может быть, даже замолчал бы, если бы не боялся, что и молчанье его будет не в пору” [1, с. 324]. Примечательны слова “с вами”, “вокруг него”, образующие устойчивый мотив соприсутствия Киреевского оставленным в Москве родным — мотив, поддерживаемый и другими письмами.

Помимо переписки молодой путешественник, во-вторых, старается нивелировать пространственно-временную дистанцию с адресатами, как делал это и в дружеском эпистолярном общении, через синхронное празднование важных для обеих сторон-участниц эпистолярного диалога событий и дат. В данном случае для Киреевского такие события — важные для его семьи праздники. Скажем, Пасха (“Здравствуйте, — пишет он родным. — Через час у вас ударят в колокола, и теперь вы уже проснулись и приготавливаетесь к заутрене. Как живо я вижу всех вас! Ваши сборы, одеванья, кофей; кажется, даже отгадал бы разговоры ваши, если бы был уверен, что у вас все так, как было при последнем письме вашем, что вы здоровы и спокойны. Думая об нас, вы знаете, что наши мысли теперь с вами, и если вы все не сомневаетесь в этом, то бьюсь об заклад, что Машинька это сказала. <...>. У нас здесь, несмотря на Греческую Церковь, заутрени нет, но это не мешает нам <...> присутствовать при вашем Христосовании” [1, с. 293]), а также праздники внутрисемейные — например, дни рождения брата и сестры (“Сегодня рождение Брата. Как-то проведете вы этот день! Как грустно должно быть ему (в Мюнхене. — М.К.). Этот день должен быть для всех нас святым: он дал нашей семье лучшее сокровище” [1, с. 268], “Дружочек Маша! Сегодня твое рождение, и, чтобы освятить себя в этот день, я начинаю его письмом к тебе, милая сестра. Мудрено и грустно начать твое рождение письмом” [1, с. 318]), именины матери (“Сегодня ваши именины. Я нарочно не кончил письма прежде, чтобы писать к вам сегодня, милое, несравненное наше сокровище. Не знаю, поздравлять ли вас с этим днем. Был ли он для вас праздником? Что у вас? что болезни? Что мой отъезд? Ради Бога скажите мне правду, и хорошую. Полно же грустить обо мне. Если вы все здоровы и нет другой причины к горю, то обо мне не горюйте *для меня*” [1, с. 277]). Этот прием соприсутствия эпистолога адресату в памятный день, соучастия в празднике гораздо более значим для Киреевского в семейной, чем

в дружеской переписке. В первой он применяется часто, при каждом удобном случае, поскольку автору письма жизненно важно быть с родными, тогда как разлука с друзьями для него легкопереносима. Применяя этот прием в семейной переписке, Киреевский задействует все его возможности: “соприсутствует” при поступках и разговорах родных, общается с ними, старается угадать даже их мысли и переживает вместе с ними их состояния души, — чего не делал в дружеской переписке. Тем самым он абстрагируется от актуальных для него в момент написания письма “немецких” времени и пространства, стремясь к сопричастности оставленной в России семье.

Но преодолеть немецкие время и пространство в полной мере Киреевскому не удастся. Симптоматично, что он настоятельно просит адресатов “не горевать” “*для него*”, поскольку, получив печальное письмо, и сам опечалится. Более того — опечалится, скорее всего, сильнее, чем его родные и чем нужно, и очень встревожится, потому что выяснить в эпистолярном отсроченном и нерегулярном “полудиалоге” причину грусти второй стороны трудно. К тому моменту, когда это, возможно, наконец, удастся, — и грусть, и ее причина могут быть уже неактуальны. Итак, более или менее успешно преодолевая — через переписку и сопереживание праздников — пространственные границы, Киреевский сталкивается с непреодолимостью временных. Любопытны его резкие, внешне не мотивированные переходы от настоящего времени, времени написания письма и соприсутствия семье в праздничный день, времени, которое актуально в этот день для автора письма и его адресатов-родных, поэтому объединяет его с ними (“Сегодня ваши именины”), — к прошедшему (“Не знаю, поздравлять ли вас с этим днем. Был ли он для вас праздником?”), которым станет для них, как, впрочем, и для него, сегодняшнее настоящее, день именин, — когда они получают его письмо. С одной стороны, Киреевский, последовательно придерживаясь принципа соприсутствия семье, пытается объединить свою (время написания письма) и их (время получения письма) темпоральные категории, с другой — все же не преуспевает в этом, потому что это невозможно, отсюда его переживания.

Неудивительно, что Киреевский успокаивается и отдыхает душой, выходя за пределы темпоральных категорий. Проживая праздничный для своей семьи день, он, как очевидно, акцентирует для себя прежде всего, во-первых, его ежегодный ход и смысл, а во-вторых, его вневременную значимость. Примечательно, что прежде всего

молодой эпистолограф чтит семейные праздники как “святыи”, поэтому стремится провести их небуднично, выделить из череды дней, побольше написать в эти дни родным, осмыслить, что такое “они”, его семья, какое место занимает в ней виновник торжества (вывод всегда один — очень важное и прекрасное: и мать, и брат Петр характеризуются Иваном как “сокровище”) и он сам. Суждение: “...Вы — это я...”, в сущности, что глубоко логично, относится Киреевским к каждому члену семьи и тем самым подтверждается: семья предстает подлинно нераздельной. Свое отношение к ней эпистолограф означил в первом же европейском письме, написанном в Берлине в феврале 1830 г.: “Вчера получил я ваши милые, святыи письма. Чувство, которое они дали мне, я не могу ни назвать, ни описать. На *каждое* слово ваше я отвечал вам слезою, а на большую часть у вас недоставало слов” [1, с. 268].

В таком контексте развитие семейной темы как центральной придает переписке молодого путешественника с близкими характер исповедальной, несмотря на то, что они пишут ему, к его огорчению, редко, а он, к их огорчению, не так много говорит о себе. Последнее можно объяснить не только его несклонностью к прямой душеизлиянной авторефлексии, но и тем, что он себя вне семьи не видит, не мыслит. “...Вы — это я...”, — сказал он раз и навсегда, — и действительно, где бы он ни находился, в Берлине ли, в Мюнхене ли, — душой он остался в семье. Вне нее для него существует только внешняя жизнь, внешние реалии европейского мира, не-жизнь, “сон”, — что он и пытался до них донести, говоря: “Письма мои к вам — мой журнал. <...> не ждите найти в них многого обо мне самом. Я теперь то, что вне меня, то, что я вижу, то, что слышу...” [1, с. 271], — и в одном из последующих писем: “...повторять вам слышанное на лекциях было бы и скучно, и мудро, и смешно, и дорого (речь о почтовых расходах. — *М.К.*); повторять читанное в книгах — не лучше; а мысли об вас как итальянское небо, которое можно понять только чувством и которое в описании будет только слово. Эти мысли, впрочем, как-то не доходят до мысли: они то память, то чувство, то воздушный замок, то беспокойство, то сон и никогда силлогизм. Покуда думаешь их, не думая об них, кажется, наполнен мыслями; захочешь рассказать: ни одной не поймашь в слово. Тем больше, что все это, кажется, рассказывать не для чего. В самом деле, к чему вам знать, что тогда-то я думал то-то, то как вы сидите в саду, то здоровы ли вы, то Машкина рожица...” [1, с. 313]. В приведенном рассуждении речь как будто и напрямую идет

о исповедальности писем — о том, что мысли о семье и чувства к ней невозможно и не нужно вербализовать, так что больше умалчивается, чем высказывается. Вместе с тем, исповедальность писем относительна, связанная с ней эпистолярная ситуация неоднозначна, ведь именно это рассуждение завершается просьбой ни “слова” из семейных писем не сообщать посторонним, то есть утверждается как раз-таки исповедальность крайне редуцированной эпистолярной авторефлексии и даже молчания. Признаваясь родным: “...Вы — это я...” и “Я теперь то, что вне меня, то, что я вижу, то, что слышу...”, — Киреевский по-своему указывал на исповедальность и тех своих писем, в которых она, казалось бы, очевидна: раскрывая и семейную, и европейскую тему, — он писал о себе.

Как можно видеть, Киреевский понимал исповедальное семейное письмо не столько в сентиментальном ключе, в традициях эпистолярного общения конца XVIII — начала XIX в., сколько в актуальном для 1830-х годов романтическом, имея в виду рационально непостижимое общение родственных душ, составляющих единое целое и преодолевающих разделяющие их границы. К такому общению он стремился, но, как все романтики, не достигал идеала, томился в тоске по нему. Это общение было, при взгляде со стороны, менее исповедально, без развернутой авторефлексии и обширных “душеизлияний”. По существу же — оно было предельно исповедально, поскольку предполагало слияние, тождество автора и адресатов. Эпистолярный текст, таким образом, переходил в дневниковый. Точнее, неизбывно балансировал на грани письма и дневника. Параллельно шло радикальное переосмысление жанровых традиций путевой эпистографии и самой культурфилософской ситуации путешествия. Семейная переписка этой литературной семьи, что характерно, стала органической частью литературного процесса своей эпохи и имеет литературную ценность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Киреевский И.В. Письма. 1816–1839 // Киреевский И.В. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. СПб.: Росток, 2018. Т. 1. С. 183–427.
2. Кошелев А.И. Письма И.В. Киреевскому (1822–1828) (Публ. Е.В. Лудиловой) // Русская литература. 2005. № 1. С. 96–124.
3. Гинзбург Л.Я. “Застенчивость чувства”. По поводу писем людей пушкинского круга // Красная книга культуры. М., 1987. С. 183–188.

4. Гинзбург Л.Я. Эвфемизмы высокого (По поводу писем людей пушкинского круга) // Вопросы литературы. 1987. № 5. С. 199–208.
5. Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 255–270.
6. Долгушин Д.В., прот. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 352 с.
7. Жуковский В.А. Дневники 1814 года // Жуковский В.А. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 13. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки 1804–1833. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 62–94.
8. Атанасова-Соколова Д. “Говоря с тобою чрез письмо...”. Письма М.Н. Муравьева // Новый филологический вестник. 2006. № 1 (2). С. 24–36; № 2 (3). С. 94–107.
9. Киреевская М.В. Письма к И.В. Киреевскому // РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 82. 37 л.
10. Лежен Ф. “Я” молодых девушек (пер. Е.П. Гречаной) // Автобиографическая практика в России и во Франции. Сб. ст. / Под ред. К. Вьолле и Е. Гречаной. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 13–29.
11. Киреевская М.В. Дневник (1 января 1825 – 26 июня 1829 г.). Автограф // РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 495. 47 л.
12. Киреевская М.В. Дневник (1846, август – 1847, декабрь). Автограф // ОР РГБ. Ф. 99. К. 25. Ед. хр. 11. 27 л.
13. Киреевская М.В. Дневник (1840 апр. 11 и 12; [1840–1847]). Автограф // ОР РГБ. Ф. 99. К. 15. Ед. хр. 54. 4 л.
14. Киреевская М.В. Письма к А.П. Елагиной. 1824–1847 // ОР РГБ. Ф. 99. К. 6. Ед. хр. 94. 33 л.
15. Гершензон М.О. Иван Васильевич Киреевский // Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полн. собр. соч.: В 4 т. Т. 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества. Калуга: Издательский педагогический центр “Гриф”, 2006. С. 415–446.
16. Елагина А.П. Письмо к И.В. Киреевскому от 18 января 1830 г. // ОР РГБ. Ф. 99. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 1.
17. Елагина А.П. Письма к И.В. Киреевскому с приписками П.В., М.В. Киреевских и Е.И. Елагиной. На русском и французском яз. 18 июня 1823–1856 // РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 67. 56 л.
18. Елагин А.А. Письма к И.В. Киреевскому от 25 августа 1829 г. – 29 июня 1836 г. // РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 65. 54 л.
19. Михеев М. Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). М.: Водолей Publishers, 2007. 264 с.
20. Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX века. История и теория жанра. М.: Флинта; Наука, 2003. 279 с.
21. Мамуркина О.В. Композиция как источник художественного нарратива в литературе путешествий второй половины XVIII века // Вестник Череповецкого гос. ун-та. Сер. Филологические науки. 2012. № 1. Т. 1. С. 79–82.
22. Мамуркина О.В. Жанровые традиции документальной путевой прозы в литературе конца XVIII – начала XIX века // Пушкинские чтения – 2013. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст. СПб.: Изд-во ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2013. С. 13–18.
23. Гуминский В.М. Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской литературе. Автореф. дис. ... к. филол. н. М., 1979. 24 с.

REFERENCES

1. Kireevsky, I.V. *Pisma. 1816–1839* [Letters. 1816–1839]. Kireevsky, I.V. *Poln. sobr. soch. i pisem: V 3 t.* [Complete Works and Letters: in 3 Vols.]. St. Petersburg, Rostok Publ., 2018, Vol. 1, pp. 183–427. (In Russ.)
2. Koshelev, A.I. *Pisma I.V. Kireevskomu (1822–1828)* [Letters to I.V. Kireevsky (1822–1828)] (Publ. E.V. Luidilovoj). *Russkaya literature* [Russian Literature]. 2005, No. 1, pp. 96–124. (In Russ.)
3. Ginzburg, L.Ya. “Zastenchivost chuvstva”. *Po povodu pisem lyudej pushkinskogo kruga* [“Shyness of Feeling”. Concerning the Letters of the People of Pushkin’s Circle]. *Krasnaya kniga kultury* [Red Book for Culture]. Moscow, 1987, pp. 183–188. (In Russ.)
4. Ginzburg, L.Ya. *Evfemizmy vysokogo (Po povodu pisem lyudej pushkinskogo kruga)* [Euphemisms of the High (About the letters of People of the Pushkin’s Circle)]. *Voprosy literatury* [Topics in the Study of Literature]. 1987, No. 5, pp. 199–208. (In Russ.)
5. Tynyanov, Yu.N. *Literaturnyj fakt* [Literary Fact]. Tynyanov, Yu.N. *Poetika. Istoriya literatury. Kino* [Poetics. The History of Literature. Movie]. Moscow, 1977, pp. 255–270. (In Russ.)
6. Dolgushin, D.V., prot. V.A. Zhukovsky i I.V. Kireevsky: *Iz istorii religioznyh iskanij russkogo romantizma* [V.A. Zhukovsky and I.V. Kireevsky: From the History of the Religious Quest of Russian Romanticism]. Moscow, *Rukopisnye pamyatniki Drevnej Rusi* Publ., 2009. 352 p. (In Russ.)
7. Zhukovsky, V.A. *Dnevnik 1814 goda* [Diaries of 1814]. Zhukovsky, V.A. *Poln. sobr. soch.: V 20 t. T. 13. Dnevnik. Pisma-dnevnik. Zapisnye knizhki 1804–1833* [Complete Works and Letters: in 20 Vols. Vol. 13. Diaries. Letters-Diaries. Notebooks 1804–1833]. Moscow, *Yazyki slavyanskoj kultury* Publ., 2004, pp. 62–94. (In Russ.)

8. Atanasova-Sokolova, D. "Govorya s toboyu chrez pismo...". *Pisma M.N. Muravyova* ["Speaking to You Through a Letter..."]. Letters of M. N. Muravyov. *Novyj filologicheskij vestnik* [New Philological Bulletin]. 2006, No. 1 (2), pp. 24–36; No. 2 (3), pp. 94–107. (In Russ.)
9. Kireevskaya, M.V. *Pisma k I.V. Kireevskomu* [Letters to I.V. Kireevsky]. RGALI. F. 236. Op. 1. Ed. hr. 82. 37 l. (In Russ.)
10. Lejeune, Ph. "Ya" *molodyh devushek* (per. E.P. Grechanoj) ["I" of Young Girls]. *Avtobiograficheskaya praktika v Rossii i vo Francii*. Sb. st. Pod red. K. Vjolle i E. Grechanoj [Autobiographical Practice in Russia and France. Collection of Articles. Edited by K. Viollet and E. Grechanaya]. Moscow, IMLI RAN Publ., 2006, pp. 13–29. (In Russ.)
11. Kireevskaya, M.V. *Dnevnik (1 yanvarya 1825 – 26 iyunya 1829 g.)* [Diary (January 1, 1825 – June 26, 1829)]. Avtograf. RGALI. F. 236. Op. 1. Ed. hr. 495. 47 l. (In Russ.)
12. Kireevskaya, M.V. *Dnevnik (1846, avgust – 1847, dekabr)* [Diary (1846, August – 1847, December)]. Avtograf. OR RGB. F. 99. K. 25. Ed. hr. 11. 27 l. (In Russ.)
13. Kireevskaya, M.V. *Dnevnik (1840 apr. 11 i 12; [1840–1847])* [Diary (1840 Apr. 11 & 12; [1840–1847])]. Avtograf. OR RGB. F. 99. K. 15. Ed. hr. 54. 4 l. (In Russ.)
14. Kireevskaya, M.V. *Pisma k A.P. Elaginoj. 1824–1847* [Letters to A.P. Elagina. 1824–1847]. OR RGB. F. 99. K. 6. Ed. hr. 94. 33 l. (In Russ.)
15. Gershenzon, M.O. *Ivan Vasil'evich Kireevsky* [Ivan Vasilievich Kireevsky]. Kireevsky, I.V., Kireevsky, P.V. *Poln. sobr. soch.: V 4 t. T. 4. Materialy k biografiiyam. Vospriyat' i ocenka lichnosti i tvorchestva* [Complete Works: In 4 Vols. Vol. 4. Materials for Biographies. Perception and Evaluation of Personality and Creativity]. Kaluga, Izdatelskij pedagogicheskij centr "Grif" Publ., 2006, pp. 415–446. (In Russ.)
16. Elagina, A.P. *Pismo k I.V. Kireevskomu ot 18 yanvarya 1830 g.* [Letter to I.V. Kireevsky dated January 18, 1830]. OR RGB. F. 99. K. 2. Ed. hr. 7. L. 1. (In Russ.)
17. Elagina, A.P. *Pisma k I.V. Kireevskomu s pripiskami P.V., M.V. Kireevskih i E.I. Elaginoj. Na russkom i francuzskom yaz. 18 iyunya 1823–1856* [Letters to I.V. Kireevsky with Postscripts to P.V., M.V. Kireevsky and E.I. Elagina. In Russian and French. June 18, 1823–1856]. RGALI. F. 236. Op. 1. Ed. hr. 67. 56 l. (In Russ.)
18. Elagin, A.A. *Pisma k I.V. Kireevskomu ot 25 avgusta 1829 g. – 29 iyunya 1836 g.* [Letters to I.V. Kireevsky dated August 25, 1829 – June 29, 1836]. RGALI. F. 236. Op. 1. Ed. hr. 65. 54 l. (In Russ.)
19. Mikheev, M. *Dnevnik kak ego-tekst (Rossiya, XIX–XX)* [Diary as an Ego-Text (Russia, the 19th–20th Centuries)]. Moscow, Vodoley Publ., 2007. 264 p. (In Russ.)
20. Egorov, O.G. *Russkij literaturnyj dnevnik XIX veka. Istoriya i teoriya zhanra* [Russian Literary Diary of the 19th Century. History and Theory of the Genre]. Moscow, Flinta; Nauka Publ., 2003. 279 p. (In Russ.)
21. Mamurkina, O.V. *Kompozitsiya kak istochnik hudozhestvennogo narrativa v literature puteshestvij vtoroj poloviny XVIII veka* [Composition as a Source of Artistic Narrative in Travel Literature of the Second Half of the 18th Century]. *Vestnik Cherepovetskogo gos. un-ta. Ser. Filologicheskie nauki* [Bulletin of the Cherepovets State University. Ser. Philological sciences]. 2012, No. 1, Vol. 1, pp. 79–82. (In Russ.)
22. Mamurkina, O.V. *Zhanrovyje tradicii dokumentalnoj putevoj prozy v literature konca XVIII – nachala XIX veka* [Genre Traditions of Documentary Travel Prose in the Literature of the late 18th – early 19th Centuries]. *Pushkinskie chteniya – 2013. Hudozhestvennyje strategii klassicheskoy i novoy literatury: zhanr, avtor, tekst* [Pushkin Readings – 2013. Artistic Strategies of Classical and New Literature: Genre, Author, Text]. St. Petersburg, Izd-vo LGU im. A.S. Pushkina Publ., 2013, pp. 13–18. (In Russ.)
23. Gumin'sky, V.M. *Problema genezisa i razvitiya zhanra puteshestvij v russkoj literature* [The Problem of the Genesis and Development of the Travel Genre in Russian Literature]. *Avto-ref. diss. ... k. filol. n.* [Abstract of the Dissertation of the Cand. Sci. (Philol.)]. Moscow, 1979. 24 p. (In Russ.)

Дата поступления материала в редакцию: 5 декабря 2022 г.
 Статья поступила после рецензирования и доработки: 12 декабря 2022 г.
 Статья принята к публикации: 15 декабря 2022 г.
 Дата публикации: 28 февраля 2023 г.

Received by Editor on December 5, 2022
 Revised on December 12, 2022
 Accepted on December 15, 2022
 Date of publication: February 28, 2023